
Ведьма из Сызрани
Приворот за 990 рублей
Курс «Ведьма за 30 дней»
Приворот — 990 ₽
Отворот
На удачу
На любовь
Сызрань
Привороты
Отвороты
Травы
Любовная магия
№990

Милана Панова

Ведьма из Сызрани. Приворот за 990 рублей

«Автор»
2026

Панова М.

Ведьма из Сызрани. Приворот за 990 рублей / М. Панова — «Автор», 2026

Первого сентября Гаша идёт в первый класс, и её соседкой по парте становится тихая девочка в чёрном. Мама девочки — Злата, ведьма-блогер с четырьмястами тысячами подписчиков и курсом «Ведьма за 30 дней». «Приворот — 990 . Первое занятие бесплатно». Самое странное, что привороты работают.Через неделю полгорода влюблено не в тех. Кузьмичёв поёт серенады под чужим окном, к Пыжикову ходят пять невест с пирогами, а ученик ведьмы Никита пишет стихи про булочку с маком. Василиса видит в людях красные крючки, которые нельзя вынуть, не порвав сердце.Злата не злодейка. Три года назад у неё погиб муж, и с тех пор он приходит к ней каждую ночь. Только пахнет он не апельсинами, а горелым. На Покров Злата обещает самый мощный приворот в истории, для всех, бесплатно. А следующей огненный гость выбирает Римму Гареевну.Смешная и пронзительная история о тоске, об умении отпускать и о том, что мёртвые не приходят. Приходят живые, если их не прогонять.

© Панова М., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Первое сентября 6
Глава 2. Коллега 12
Глава 3. Вебинар 20
Конец ознакомительного фрагмента. 25

Милана Панова
Ведьма из Сызрани.
Приворот за 990 рублей

Ведьма из Сызрани. Приворот за 990 рублей
Серия «Ведьма из Сызрани». Книга девятнадцатая

Глава 1. Первое сентября

«Урок 1. Вы не обычная женщина. Вы это всегда знали. Мужчины оборачиваются вам вслед, кошки идут к вам на руки, сны сбываются. Это не совпадения, дорогая. Это ваша сила. Она спала. Сегодня мы её разбудим». Из курса «Ведьма за 30 дней», школа ведьм «Злата», тариф «Базовый»

Гаша не спала с пяти утра.

Она лежала на верхнем ярусе, на спине, поверх одеяла — в школьной форме. В белой блузке с отложным воротником, в синем сарафане, в белых колготках. Оделась ещё вчера вечером, когда все легли, тихонько, в темноте, на ощупь, — чтобы утром не тратить время. Банты, правда, завязать не смогла. Банты лежали на подушке рядом, два огромных белых облака, и Гаша смотрела то на них, то в потолок, и думала.

Думала она о том, что в классе будет двадцать шесть человек. Ей сказали — двадцать шесть. Двадцать шесть человек — это двадцать шесть мам и двадцать шесть пап, а ещё бабушки, дедушки, братья, сёстры, тёти, собаки. Это — Гаша посчитала на пальцах ещё в августе и сбилась — очень много ниток. Очень-очень. Больше, чем в метро, где ей было три года и где она плакала. Больше, чем на кургане, где было много домовых, но у домовых нитки толстые, тёплые и их легко различать.

У людей — тонкие. Разноцветные. Спутанные. Они дёргаются, звенят, рвутся, и если смотреть на них долго — болит голова.

— Брови, — сказала себе Гаша шёпотом. И нахмурилась. Пробно. Как пробуют воду пальцем.

Брови сошлись. Складка между ними — Евдокиина, Улитина — легла как надо.

Хорошо.

— Ты спишь? — спросил снизу Алёша.

Он тоже не спал. Гаша знала. Он вообще почти никогда не спал по-настоящему, а только лежал с закрытыми глазами и слушал дом. Дом теперь был тёплый, жёлтый, правильный, и Алёша говорил, что слушать его приятно, как кошку, когда она мурлычет.

— Нет, — сказала Гаша.

— Ты в форме?

Гаша подумала, не соврать ли.

— В форме, — сказала она.

— Я тоже, — сказал Алёша.

Она свесила голову вниз. Алёша лежал на нижней кровати, на спине, поверх одеяла — в белой рубашке, в синих брюках, в жилетке. С аккуратно, по-отцовски, завязанным галстуком. На груди — Аполлинарий. Черепах высунул голову и смотрел на Гашу снизу вверх с тем выражением, с каким, наверное, смотрят на первоклассников все стопятидесятилетние черепахи.

— Ты галстук сам завязал? — спросила Гаша с подозрением.

— Папа вечером, — сказал Алёша. — Я попросил. Я его не снимал.

— Ты в галстуке спал?

— Я не спал, — сказал Алёша. — Я лежал.

Гаша посмотрела на брата с уважением.

— А Аполлинарий тоже идёт?

— Нет, — сказал Алёша с сожалением. — Мама сказала — нельзя. В школе черепахи — только в живом уголке. А он — не живой уголок. Он — Аполлинарий.

Черепах втянул голову. Видимо, был согласен.

В шесть на кухне загремело. Это Фрол Евсеич ставил самовар — тот самый, который тёк, и который он, ворча, запаял в июле суровой ниткой, пчелиным воском и каким-то словом,

после чего самовар перестал течь, но начал по утрам негромко гудеть, как пароход. В половине седьмого запахло блинами: с тех пор как он вернулся, Фрол Евсеич по праздникам пёк блины, а первое сентября, по его словам, было «праздник, потому что двое моих в науку идут, а это вам не хухры-мухры». Блины у домового выходили тонкие, кружевные, и ели их все, кроме Модеста, который сметану предпочитал без посредников.

В семь мама вошла в детскую — и остановилась.

Двое первоклассников лежали в полной парадной форме, на спинах, поверх одеял, глядя в потолок. Гаша — с двумя бантами в руках. Алёша — с черепахой на галстуке.

Мама постояла в дверях. Потом прислонилась к косяку. И засмеялась — тихо, чтобы не разбудить папу, хотя папа давно не спал и стоял у неё за спиной с телефоном, фотографируя.

— Ну вы даёте, — сказала мама.

— Мы готовы, — сказала Гаша.

— Я вижу.

— Завяжи банты.

Мама завязала. Два огромных белых облака, по одному над каждым ухом. Гаша посмотрела на себя в зеркало — в Агафьино трюмо в коридоре, старое, с потемневшими уголками, — и осталась довольна. Нахмурилась. Разгладила. Нахмурилась снова. Брови работали.

Школа была на Советской, в пяти кварталах. Старая, красного кирпича, двухэтажная, с белыми колоннами у входа и с надписью над дверями, которую когда-то, при царе, выложили из кирпича другого цвета: «Реальное училище». Потом надпись замазали, потом отбили, потом, в девяностые, восстановили — и теперь под ней висела новая табличка, синяя, пластиковая: «МБОУ СОШ № 3». Мама говорила, что в этой школе училась Агафья. И Агафьина мама. И Зинаида Павловна сорок лет здесь же была завучем, а потом её проводили на пенсию с оркестром.

Шли все. Мама. Папа — в форме, потому что у участкового первое сентября тоже дежурство: он сначала проводит детей, а потом будет стоять у школы, следить, чтобы никого не задавили. Фрол Евсеич — у мамы в сумке, в кармашке для телефона, высунув бороду. Он сказал, что «хочет посмотреть, куда их сдают, мало ли», а мама сказала, что домовые в школу не ходят, а он сказал, что двести шестьдесят лет никуда не ходил и теперь наверстывает. Модест остался дома — сказал, что видел за свою жизнь сто семьдесят три первых сентября и все одинаковые.

У ворот школы стояли люди. Много. Очень много.

Гаша нахмурилась заранее. Ещё за квартал.

И правильно.

Ниток было — как в метро. Нет, больше. Они висели над толпой у школьных ворот, как паутина в сарае, — розовые, голубые, золотые, серые, тонкие, толстые, натянутые, провисшие, — от мам к детям, от пап к мамам, от бабушек ко всем сразу. Они дрожали. Звенели. От первоклассников — тоненькие, натянутые до звона, испуганные — к мамам. От мам — толстые, тёплые, тревожные — обратно. Над головами стоял гул. Не звуковой — ниточный. Гаша слышала его бровями.

Она нахмурилась сильнее. Складка между бровей легла глубоко.

Стало тише.

Не тихо — тише. Можно было терпеть.

— Нормально? — спросила мама. Тихо. Она тоже видела — Гаша знала, но маме надо было поворачивать внутри себя ручку, а Гаше — наоборот, крутить её обратно.

— Нормально, — сказала Гаша. — Много. Но нормально.

— Если что — скажи.

— Скажу.

Их класс — «1 Б» — стоял на школьном дворе, у таблички на палке. Двадцать шесть человек. Мальчики в пиджаках, девочки в бантах, все с цветами. Цветы были огромные —

гладиолусы, астры, розы в целлофане, — некоторые больше своих хозяев. Рядом с табличкой стояла учительница.

Учительница была маленькая. Почти как Гаша. Седая, коротко стриженная, в сером костюме, в очках на цепочке. С лицом, на котором не было ни одной лишней морщины — только две глубокие у рта, от улыбки. Она держала табличку «1 Б» обеими руками, как держат знамя.

— Нонна Аркадьевна, — сказала мама. Шёпотом. — Зинаида Павловна сказала — лучшая в городе. Сорок два года в начальной школе. Зинаида Павловна у неё на уроках сидела — проверять. Сказала — ни разу ни к чему не придралась. Ни разу за двадцать лет.

Гаша посмотрела на Нонну Аркадьевну.

Ниток от неё шло — много. Очень много. Двадцать шесть — к двадцати шести новеньким, тоненьких, только что натянутых, ещё не окрепших. И ещё — сотни. Старых. Толстых. Тёплых. Они уходили во все стороны — в город, за город, за реку, куда-то далеко, — к бывшим ученикам. Сорок два года. Сорок два класса. Больше тысячи человек. И все нитки — целые. Ни одной оборванной.

Гаша смотрела на них, забыв нахмуриться.

Нонна Аркадьевна вдруг повернула голову. Посмотрела прямо на Гашу. Поверх очков.

— Ты — Шмелёва, — сказала она. Не спрашивая. — Агафья.

— Да.

— Я твою прабабушку знала. — Нонна Аркадьевна улыбнулась. Две морщины у рта стали глубже. — Тоже Агафья. Я у неё — в девяносто восьмом — мальчика лечила. Сына. От заикания. — Вылечила. Он теперь в Самаре, на радио работает. Ведущим.

Гаша не знала, что ответить.

— У тебя её брови, — сказала Нонна Аркадьевна. — Хмуришься — так же.

— Это не её, — сказала Гаша. — Это бабушки Дуни.

Нонна Аркадьевна посмотрела на неё внимательно. Ничего не спросила. Только кивнула — как будто поставила в журнал отметку.

— Встань-ка вон там, — сказала она. — Рядом с девочкой в чёрном. Вы — пара. Парами пойдём в класс.

Девочка в чёрном стояла на краю класса. Отдельно. Как будто её поставили, а она отошла на полшага.

Она была одета не как все. Все — в белых блузках и синих сарафанах. А эта — в чёрном. Чёрное платье с кружевным воротником, чёрные колготки, чёрные лакированные туфли с пряжками. Вместо бантов — чёрная бархатная лента в волосах. Волосы — светлые, почти белые, длинные, ниже лопаток, гладко причёсанные. Глаза — серые. Очень большие. Очень серьёзные.

В руках — не букет. Один цветок. Чёрная роза. Настоящая — Гаша не знала, что такие бывают.

Гаша подошла. Встала рядом.

Девочка посмотрела на неё. Сверху вниз — она была на полголовы выше.

— Ты кто? — спросила девочка.

— Гаша. А ты?

— Мирослава, — сказала девочка. — Можно — Мира. — У тебя брови сердитые.

— У тебя роза чёрная.

— Это мама выбрала, — сказала Мира. — Для контента.

Гаша не знала слова «контент». Подумала, что это, наверное, что-то вроде «конфета», только для взрослых.

Она посмотрела на Миру. Привычно. Как смотрела на всех.

И остановилась.

От Миры шли нитки — немного. Тонкие. Бледные. Как будто их долго стирали, и они выцвели. Одна — тоненькая, серебряная, — тянулась к Нонне Аркадьевне: только что натянутая, как у всех. Ещё одна — куда-то далеко, за город, слабая, почти невидимая. К бабушке, наверное. Или к кому-то, кого давно не видели.

И одна — к маме.

Эта была толстая. Это Гаша поняла сразу: мамины нитки у всех толстые. Но эта была — не такая. Не тёплая. Натянутая. Напряжённая. И — странно — она тянулась от Миры к маме, а от мамы к Мире — почти ничего не шло. Тоненькая паутинка. Как будто мама держала её одним пальцем, а смотрела в другую сторону.

Гаша посмотрела, куда смотрит Мирина мама.

И забыла нахмуриться.

Мирина мама стояла у самых ворот. Чуть в стороне от других родителей. Высокая — выше всех мам вокруг. Тонкая. В чёрном пальто до пят, распахнутом, под ним — чёрное платье. Длинные светлые волосы — как у Миры, только с розовыми прядями на концах. Красная помада. Огромные тёмные очки, хотя солнца не было. На шее — много-много цепочек, с камушками, с подвесками, с какими-то знаками. В одной руке — телефон, на длинной палке. В другой — кольцевая лампа, маленькая, на батарейках.

Она снимала себя. На фоне школы. Говорила что-то в телефон — быстро, весело, улыбаясь красными губами. Гаша не слышала, что.

Но видела нитки.

От Мириной мамы шли нитки — не так, как от всех. Не тонкие и разноцветные. Не толстые и тёплые. Красные. Яркие, как огонь в печи, когда открываешь заслонку. Горячие. И — Гаша прищурилась — на концах у них были крючки. Маленькие, загнутые, острые. Как у рыболовной лески, которую папа хранил в коробке в сарае и не разрешал трогать.

Нитки-с-крючками тянулись от Мириной мамы в толпу. Много. Очень много. К папам. К мамам. К учителям. К охраннику у ворот. К продавщице цветов на углу. Крючки впивались — Гаша видела, — впивались людям куда-то в грудь, под рёбра, и люди, у которых в груди сидел такой крючок, — оборачивались. Смотрели на Мирину маму. Улыбались. Глупо, как во сне. И отворачивались не сразу.

А одна нитка — самая толстая, самая яркая, — уходила вверх. Не к людям. В небо. Над крышами. Над школой. Куда-то туда, где за домами текла Волга.

И там, на другом конце, — Гаша вдруг почувствовала это бровями, всей складкой, до головной боли, — там было что-то горячее. Огромное. Голодное.

Гаша нахмурилась так, что у неё заболел лоб.

Нитки-с-крючками потускнели. Не исчезли. Потускнели.

— Ты чего? — спросила Мира.

— Ничего, — сказала Гаша. — Это твоя мама?

— Моя. — Мира посмотрела на маму у ворот. — Она — блогер. Она — Злата. — Помолчала. — Её все знают. У неё четыреста тысяч.

— Четыреста тысяч чего?

— Подписчиков.

Гаша не знала, что такое подписчики. Но четыреста тысяч — это было много. Больше, чем у мамы ниток. Больше, чем у мамы с Риммой вместе.

— А папа где? — спросила Гаша.

Мира не ответила.

Она смотрела на чёрную розу в своих руках. Потом сказала — тихо, не Гаше, а куда-то вниз, розе:

— Папа к маме по ночам приходит.

Гаша не поняла.

— А днём?

— Днём — нет, — сказала Мира. — Днём папа умер.

Линейка была долгая.

Директор говорил речь. Завуч говорила речь. Представитель городской администрации говорил речь — очень длинную, про будущее, про цифровизацию и про то, что «каждый из вас, ребята, может стать кем угодно, даже космонавтом, даже мной». Старшеклассники пели. Одиннадцатиклассник — огромный, с бородой, Гаша думала, что он учитель, — посадил на плечо маленькую девочку из «1 А», и та звонила в колокольчик, а все хлопали.

Гаша не слушала.

Она стояла рядом с Мирой и смотрела, как Мирина мама снимает.

Злата не стояла на месте. Она ходила. Вдоль толпы, вдоль ограды, вдоль родителей. Снимала себя — на фоне школы, на фоне шаров, на фоне колокольчика, на фоне чужих первоклассников. Говорила в телефон. Улыбалась. И нитки-с-крючками — красные, горячие — тянулись за ней, как за кораблём тянутся по воде волны. Впивались. Цеплялись. В пап. В мам. В учителей.

Учитель физкультуры — молодой, в спортивном костюме, со свистком на шее — стоял у забора и смотрел на Злату так, как Гаша смотрела на блины Фрола Евсеича.

Директор школы — лысый, в очках, — сбился посреди речи. Посмотрел туда, где стояла Злата. Помолчал. Сказал: «…и в этот прекрасный день», — и потерял бумажку.

Представитель администрации покраснел.

Охранник у ворот забыл закрыть ворота, и в них забежала чья-то собака.

А мама — Гаша посмотрела на маму, — мама стояла в стороне, рядом с папой, и смотрела на Злату. Не так, как директор. Не так, как физрук. Иначе. Внимательно. Холодно. Как смотрела Римма Гареевна на Евдокию Марковну, когда та ещё не была добрая.

У мамы была повёрнута ручка. Гаша знала. Мама видела крючки.

Фрол Евсеич в маминой сумке, в кармашке для телефона, тоже смотрел. Борода у него стояла дыбом.

После линейки Нонна Аркадьевна повела «1 Б» в класс. Парами. Гаша шла с Мирой. Алёша — с маленьким рыжим мальчиком в очках, который всю дорогу рассказывал ему про динозавров, а Алёша кивал и иногда говорил: «Нет. Это не тираннозавр. Это аллозавр. У него три пальца».

Перед тем как войти в школу, Гаша обернулась.

Мама стояла у ворот. И к маме — от толпы, от шаров, от колокольчика — шла Злата. С телефоном на палке. С кольцевой лампой. С красными губами. С крючками.

Злата остановилась перед мамой. Близко. Сняла очки.

Глаза у неё были серые. Как у Миры. Большие. И очень, очень усталые. Гаша видела — даже отсюда, даже через двор. Как будто Злата не спала много ночей подряд.

Злата улыбнулась. Широко. Красиво. Как в телефоне.

И сказала — Гаша не слышала, но по губам поняла, потому что слово было короткое и смешное:

— Коллега?

Мама не ответила.

А Злата протянула ей что-то. Маленькое. Блестящее. Карточку.

Мама взяла.

Гаша успела увидеть — до того как Нонна Аркадьевна закрыла за «1 Б» тяжёлую дубовую дверь Реального училища. Карточка была чёрная. С золотыми буквами. И на ней — Гаша прочитала, потому что умела читать с четырёх лет и очень этим гордилась, — было написано:

«ШКОЛА ВЕДЬМ «ЗЛАТА».

ПРИВОРОТ — 990 #.

ПЕРВОЕ ЗАНЯТИЕ — БЕСПЛАТНО».

Дверь закрылась.

В классе пахло краской, новыми тетрадями и мелом. Окна — высокие, старые, с широкими подоконниками. На подоконниках — цветы в горшках: герань, фиалки, кактусы. На стене — портрет какого-то бородатого дядьки, азбука, таблица умножения, которую им ещё рано, и плакат «Мы — дружный класс!» с нарисованными детьми, держащимися за руки.

Нонна Аркадьевна рассадила их по партам. Гашу — с Мирой. У окна. Вторая парта.

Мира села. Положила чёрную розу на парту. Аккуратно. Как кладут на могилу.

Гаша посмотрела на розу. Потом на Миру.

— Как это — днём умер? — спросила она шёпотом.

Мира не повернула головы.

— Он в аварии, — сказала она. Тоже шёпотом. — Три года назад. В Новокуйбышевске. Мне было четыре. Мама плакала. Долго. Целый год. — Мира помолчала. — А потом перестала. И стала Златой. И папа стал приходить.

— Ты его видела?

Мира помолчала ещё дольше.

— Видела, — сказала она. — Один раз. Ночью. Я пить встала. Он на кухне сидел. С мамой. Чай пил. — Она смотрела на розу. — Он был похож. Очень. Как на фотографиях. Только…

— Только что?

Мира повернулась к Гаше. Серые глаза. Огромные. Серьёзные.

— Только он не пахнет, как папа, — сказала она. — Папа пах апельсинами. Он всегда апельсины ел, мама ругалась, что корки по всей машине. — Она сглотнула. — А этот — пахнет печкой. Горелым. Как когда сковородку забыли.

Нонна Аркадьевна у доски постучала указкой.

— Шмелёва. Скворцова. Разговоры.

Мира отвернулась. Сложила руки на парте — правую на левую, как учили в садике.

Гаша тоже сложила.

Но не перестала смотреть.

Из Миры — из тоненькой выцветшей девочки в чёрном платье — к маме тянулась толстая, натянутая, напряжённая нитка. А от мамы — почти ничего.

А от мамы, — Гаша нахмурилась, прищурилась, — от мамы, через окно, через город, через крыши, туда, к Волге, к чему-то горячему, огромному и голодному, — тянулась другая. Самая толстая. Самая красная.

И по ней — Гаша увидела это ясно, как видят в солнечный день искры от костра, — по ней что-то текло.

Оттуда — к Злате. Жар. Огонь. Сила.

А от Златы — туда.

Что-то серое. Тусклое. Как пепел.

Как будто там, на другом конце, кто-то ел.

Глава 2. Коллега

«Урок 2. Забудьте всё, что вам говорили бабушки. Свечи из церкви, шёпот на воду, булавки в косяк — это прошлый век. Современная ведьма работает с энергией намерения. Ей не нужны бабушкины тетрадки. Ей нужны вы, ваш телефон и полчаса тишины». Из курса «Ведьма за 30 дней»

Римма Гареевна перезвонила через сорок минут.

Василиса сидела на скамейке у школы, на Советской, и смотрела, как Егор регулирует движение. Регулировать было нечего — машины давно разъехались, родители разошлись, только мимо школы медленно, вразвалку, шли две пожилые женщины с внуками, — но Егор стоял у перехода с жезлом и с таким лицом, будто за его спиной был не первый класс, а государственная граница. Василиса знала: он не уйдёт, пока не кончится первый урок. Он и вчера сказал: «Я постою. Мало ли».

Чёрная карточка с золотыми буквами лежала у неё на колене.

«Школа ведьм "Злата". Приворот — 990 #. Первое занятие — бесплатно».

На обороте — QR-код. И ещё мельче, курсивом: «Сила спит в каждой женщине. Я помогу её разбудить».

Фрол Евсеич сидел у неё в сумке, в кармашке для телефона, и сердито сопел. Он сопел с линейки. На вопросы не отвечал. Один раз высунул бороду и сказал: «Палёным пахнет». И убрал обратно.

Телефон завибрировал.

— Круглова, — сказала Римма Гареевна. Без «здравствуй». Она никогда не говорила «здравствуй» людям, с которыми говорила каждый день. — Нашла. Записывай.

— Записываю.

— Скворцова Зоя Тимофеевна. Тысяча девятьсот… нет, две тысячи пятого года рождения. Двадцать девять лет. Место рождения — Новокуйбышевск, Самарская область. — Римма Гареевна говорила, как читала по бумаге. Видимо, и читала. — Бабушка по матери — Скворцова Ефросинья Андреевна. Тысяча девятьсот сорок первого. Ведающая. В реестре Евдокии — с шестьдесят третьего. Травы, роды, испуг, зубы. Тихая. Хорошая. Евдокия ей письма писала, раз в год, на Рождество. — Шорох бумаг. — Умерла в шестнадцатом году. В октябре. Инсульт.

— А Зоя?

— А Зоя — дикая, — сказала Римма Гареевна. Сухо. — В реестре — нету. Ефросинья её не передала. Не успела. Внучке было одиннадцать лет, когда бабка ушла. Мать у неё… — Римма помолчала. — Мать у неё не ведала. Работала на нефтезаводе, в бухгалтерии. Пила. Умерла в двадцать первом. Отец — неизвестен.

Василиса молчала.

— Дальше, — сказала Римма Гареевна. — Замужем была. Скворцов Тимур Ринатович, девяносто девятого года. Инженер, тоже на нефтезаводе. Дочь — Мирослава, двадцать шестого года. — Муж погиб в тридцать первом. Март. Трасса Новокуйбышевск — Самара. Гололёд, фура на встречке. Сразу.

Василиса смотрела на Егора у перехода. На его фуражку. На жезл в руке.

— А потом?

— А потом — интернет, — сказала Римма Гареевна. И в голосе у неё появилось то, что Василиса за восемь лет научилась узнавать: брезгливость, смешанная с чем-то ещё. С профессиональной ревностью, может быть. — Канал завела в тридцать втором. Год ничего. Сорок подписчиков. Гадания на картах, луна, ретроградный Меркурий, вся эта чепуха. А с весны тридцать третьего — пошло. Привороты. Отвороты. «Верну любимого за три дня». «Привяжу мужа навсегда». Отзывы — тысячи. Говорят — работает. — Четыреста двенадцать тысяч под-

писчиков на сегодня. Курс «Ведьма за тридцать дней» — купили одиннадцать тысяч человек. По девятнадцать девятьсот — базовый тариф. По сорок девять — с личным сопровождением.

Василиса попробовала умножить одиннадцать тысяч на девятнадцать тысяч девятьсот. Сбилась.

— Римма Гареевна. Это же…

— Это двести миллионов, Круглова, — сказала Римма Гареевна. — Как минимум. Я посчитала. — Она помолчала. — А в августе она переехала в Сызрань. Сняла дом на Кремлёвской. Купеческий, с печью. Объявила подписчикам, что «Сызрань — город силы, место, где живут настоящие ведьмы, и я хочу быть рядом с ними». — Римма хмыкнула. — Это про тебя, если что.

— Про меня?

— Про тебя. Про нас. Про Кощеев ломбард, про Лихо на башне, про Снегурку у Михеича. Слухи, Круглова, — они ходят. В интернете — особенно. — Под её постами — комментарии. «Злата, а правда, что в Сызрани есть ведьма, которая с котом разговаривает?» А она отвечает: «Правда, дорогая. Скоро я с ней познакомлюсь. Следите за сторис».

Василиса посмотрела на карточку у себя на колене.

«Коллега?»

— Римма Гареевна. Привороты — настоящие?

Тишина в трубке была долгой.

— Я не знаю, — сказала Римма Гареевна наконец. Так, как, наверное, никогда в жизни не говорила «не знаю». — Я её нитку не вижу. Её нет в реестре. Ефросининой нитки больше нет — она порвалась в шестнадцатом. А новой — Зоя ни к кому не привязалась. Она ни с кем из наших не говорила ни разу. — Но, Круглова. Мои двенадцать тысяч — с весны прошлого года — стали… странные. Кое-где. Не везде. В Самаре. В Новокуйбышевске. В Чапаевске. Тут и там. Как будто кто-то нитки — дёргает. Не рвёт. Не путает. Дёргает. На себя. Чужие. — Я думала — показалось. Старая стала.

— Не показалось.

— Ты видела?

— Гаша видела. Сегодня. На линейке. — Василиса сжала карточку. — Римма Гареевна. У неё нитки с крючками.

В трубке стало тихо.

— С какими крючками?

— С рыболовными. Красные. Горячие. Она идёт сквозь толпу — и они впиваются. В людей. Под рёбра. Директор речь забыл. Физрук на неё смотрел, как… — Василиса поискала слово. — Как Модест на сметану. А одна нитка — уходит вверх. Куда-то за город. К Волге. И там, на другом конце, — что-то большое.

Римма Гареевна молчала очень долго.

— Круглова, — сказала она наконец. Голос у неё был другой — тихий, осторожный. — Ты сходи к ней. Сама. Посмотри. Только — не одна. И — Круглова. — Ничего у неё не ешь. Ничего не пей. Ты меня поняла?

— Почему?

— Потому что я так сказала, — отрезала Римма Гареевна. — Отбой.

Дом на Кремлёвской Василиса знала.

Все в Сызрани его знали. Двухэтажный, каменный низ, деревянный верх, с резными наличниками и с жестяным петухом на коньке, который давно не крутился, а смотрел только на запад. Купца Шахова, говорили, — того самого, что держал в девятнадцатом веке хлебные пристани на Сызранке. Потом — коммуналка. Потом — контора. Потом — двадцать лет пустой, с заколоченными окнами, с проваленной крышей. Два года назад его купил кто-то из Самары,

отремонтировал — новая крыша, новые окна, — и стал сдавать посуточно. Под фотосессии, под свадьбы, под «аутентичный отдых в стиле купеческой Руси».

Теперь у калитки висела табличка. Чёрная, с золотом.

«ЗЛАТА. Школа ведьм. Приём по записи».

Василиса пришла в три часа. После того, как забрала детей из школы — Гаша вышла хмурая, сказала «нормально», больше ничего не сказала; Алёша вышел с рыжим мальчиком в очках, сказал «его зовут Фёдор, он знает про аллозавров», и это было больше слов, чем Алёша говорил о ком-либо постороннем за весь прошлый год. Детей отвела домой, к Фролу Евсеичу и к блинам. Сама пошла на Кремлёвскую.

Не одна. Римма Гареевна сказала — не одна.

Модест шёл рядом. По тротуару. Хвост трубой. С выражением лица, которое у кота означало: «Я пришёл не потому, что ты меня попросила, а потому, что у меня была своя причина прогуляться по Кремлёвской именно в это время».

Фрол Евсеич — в сумке. Он отказался оставаться дома. Сказал, что «палёное надо нюхать вблизи».

Калитка открылась до того, как Василиса постучала.

На пороге стояла Злата.

Без телефона на палке. Без кольцевой лампы. Без тёмных очков. В чёрном шёлковом халате до пола, с широкими рукавами, расшитыми золотыми звёздами. Босиком. Волосы — светлые, с розовыми кончиками — небрежно заколоты наверх. Без помады. Без грима.

Без грима она выглядела моложе. И старше одновременно. Как девочка, которая очень устала.

— Я знала, что придёте, — сказала Злата. И улыбнулась. Не так, как в телефоне. Осторожно. — Я вам карточку дала, чтобы вы пришли. Проходите. — Она посмотрела вниз. На Модеста. — И котик ваш — пусть проходит. Я про него читала. Это тот, который разговаривает?

— Мяу, — сказал Модест. С глубочайшим презрением.

— Ой, — сказала Злата. И засмеялась. — Обиделся. Ну извините. — Она присела. Посмотрела коту в глаза. — Извините, пожалуйста. Я не хотела вас обидеть. Я просто никогда не видела говорящих котов. Только в интернете. А там — все нейросеть.

Модест посмотрел на неё. Долго.

— Она меня слышит, — сказал он Василисе. Без мяуканья. Тихо. — Не понимает. Но слышит. Это — бабкино. От Ефросиньи.

Злата моргнула.

— Он что-то сказал? — спросила она. — Мне показалось — он что-то сказал. Не «мяу». Слова.

— Он сказал, что у вас есть бабушкино, — сказала Василиса.

Злата выпрямилась. Улыбка у неё на лице на секунду застыла — как застывает кадр, когда зависает видео. Потом ожила.

— Бабушкино, — сказала она. — Да. Есть. Проходите.

Внутри было — как на фотографиях в интернете, которые Василиса посмотрела утром, сидя на скамейке у школы.

Первый этаж — каменный, со сводчатыми потолками, с побелёнными стенами — Злата превратила в студию. Чёрные бархатные шторы. Свечи — десятки, сотни: на полу, на подоконниках, на полках, в подсвечниках, в стеклянных банках. Не горящие сейчас, но с обугленными фитилями. Кристаллы — аметисты, кварцы, какие-то розовые и зелёные камни, — разложенные кругами и звёздами на чёрном бархате. Карты Таро — веером на круглом столике. Сушёные травы — пучками под потолком, на верёвке, как бельё. Черепа — пластмассовые,

с наклейкой «Made in China» на одном из них, Василиса заметила. Хрустальный шар. Ловцы снов. Пентаграммы, нарисованные мелом на полу.

И три кольцевые лампы. И два штатива. И ноутбук на стойке. И микрофон с поролоновой ветрозащитой.

— Нравится? — спросила Злата. С вызовом. С иронией. С надеждой.

— Очень по-ведьмински, — сказала Василиса.

— Это для съёмок, — сказала Злата. — Люди хотят, чтобы было — как в кино. Им нужна картинка. Если я буду сидеть в халате на кухне и шептать на воду — меня никто не будет смотреть. — Она пожала плечами. — Вы же понимаете.

— Понимаю.

— А вы как работаете? — Злата смотрела на неё с жадным, почти детским любопытством. — Вы же — настоящая. Я читала. Про кота. Про Кощея. Про девочку из снега. — Она замялась. — Вы — как? Шепчете? Варите что-то? Карты?

— Я вижу нитки, — сказала Василиса.

Злата моргнула.

— Нитки?

— Между людьми. Кто кого любит. Кто кого боится. Кто кому должен. Кто о ком помнит. — Василиса смотрела на неё спокойно. — Я вижу, где порвано, где спуталось. И иногда — помогаю. Связать. Распутать. Отпустить.

Злата смотрела на неё. Очень внимательно.

— И у меня — видите?

— Вижу.

— И какие у меня?

Василиса помолчала.

— Красные, — сказала она. — С крючками.

Тишина.

Злата медленно, очень медленно, села в кресло. Чёрное, бархатное, с высокой резной спинкой — трон, а не кресло. Сложила руки на коленях. Посмотрела на Василису снизу вверх.

— Крючки, — повторила она. — Интересно.

— Вам не интересно, — сказала Василиса. — Вы знаете.

Злата не ответила.

На втором этаже — деревянном, жилом — было по-другому.

Злата повела её туда сама. Сказала: «Хотите чаю? Давайте наверх, там кухня, там нормально, тут я только снимаю». Модест пошёл первым — по узкой скрипучей лестнице, принюхиваясь к каждой ступеньке.

Наверху — обычная квартира. Обои в цветочек, ещё советские, местами переклеенные. Икеевский диван. Детская — дверь приоткрыта, внутри розовое: кровать, плюшевые зайцы, рисунки на стене, школьный рюкзак. Мира, наверное, была там — Василиса слышала, как кто-то тихо говорит сам с собой, играя. И кухня.

Кухня была большая. С огромной русской печью — старой, купеческой, облицованной синими изразцами с птицами и цветами. Печь занимала полкухни. Рядом с ней — газовая плита, холодильник, стол. Обычные.

От печи пахло горелым.

Не дымом. Не углём. Горелым. Палёным. Как пахнет, когда забыли на плите сковородку и она раскалилась докрасна. Как пахнет проводка, когда коротнёт. Запах был старый, въевшийся — в изразцы, в стены, в потолок.

Фрол Евсеич в сумке зашевелился.

Василиса почувствовала — он лезет наружу. Она прижала сумку локтем. Он лез.

— Чаю? — спросила Злата. Она уже стояла у плиты, ставила чайник. — У меня есть травяной. Сама собирала. Иван-чай, мята, чабрец. И пирог есть. С яблоками. Мира пекла. Ну — я пекла, Мира смотрела.

— Спасибо, не надо.

— Да ладно вам. — Злата обернулась. — Я не отравлю. Мне незачем. — Улыбнулась. — Вы же — коллега.

— Не надо, — повторила Василиса. Мягко. — Спасибо.

Злата пожала плечами. Налила чаю себе. Села за стол.

На столе стояли две чашки.

Одна — Златина, только что налитая, с паром. Вторая — стояла уже. Давно. Большая, мужская, белая, с логотипом нефтезавода — «Новокуйбышевский НПЗ» — и с отбитой ручкой. Полная. Чай в ней — холодный, тёмный, подёрнутый плёнкой. А по краю чашки — по белому фаянсу — шла серая каёмка. Как будто чашку держали очень горячими пальцами. Как будто край обожгли.

Злата заметила, куда смотрит Василиса.

Не убрала чашку. Не прикрыла. Только посмотрела на неё — быстро, как смотрят на часы, — и снова на Василису.

— Это мужа, — сказала она. Просто.

— Тимура.

Злата вздрогнула. Очень слабо. Но Василиса видела.

— Вы и это знаете.

— У меня есть подруга. В реестре.

— В реестре, — повторила Злата. С кривой усмешкой. — Ну конечно. У вас — реестры. Протоколы. Советы. Бабушки, которые всё про всех знают и письма друг другу пишут на Рождество. — Она отпила чаю. — А меня в реестре нет. Да?

— Нет.

— А почему, знаете?

— Потому что Ефросинья Андреевна не успела вас передать.

Злата поставила чашку.

Медленно. Очень аккуратно. Так, что чашка не звякнула.

— Не успела, — сказала она. — Да. Не успела. Мне было одиннадцать. Она меня учила — травы, шёпоты, как испуг выливать на воск. Говорила — вырастешь, Зоюшка, я тебя к главной отвезу, в Москву, к Евдокии, она тебя запишет. — Злата смотрела в чашку. — А потом у неё в огороде случился инсульт. Она там лежала до вечера. Между грядками. С морковкой в руке. — Голос у неё был ровный, почти весёлый. — Я её нашла. Из школы пришла — и нашла. Морковку она так и не выпустила. Её с морковкой хоронили. Я положила.

Василиса молчала.

— А мама — пила, — сказала Злата. — Вы знаете? В реестре и это есть? — Она подняла глаза. — Мама пила. Я в пятнадцать лет сама варила суп и сама подписывала дневник. А в восемнадцать вышла замуж за Тимура, потому что он был единственный, кто меня ни разу ни о чём не спросил. Ни про маму. Ни про бабушку. Ни про то, почему у меня в комнате пучки травы сушатся. Он просто — пришёл. С апельсинами. И остался. — А потом — фура на встречке. Гололёд. Сразу.

Тишина на кухне.

Из детской — тихий детский голос. Мира с кем-то разговаривала. С зайцами, наверное.

— И никто не пришёл, — сказала Злата. — Знаете? Никто. Ни ваша Евдокия, ни ваша подруга с реестром, ни одна бабушка с письмами. Бабушка моя в реестре была. Её внучка — нет. Внучку можно не замечать. Внучка — дикая. — Она усмехнулась. — Я год плакала. Год. Каждую ночь. Мира со мной спала — я её обнимала и плакала, а она гладила меня по голове.

В четыре года. По голове. — Злата сглотнула. — А потом я подумала: ладно. Не пришли — и не надо. Сама.

— И пришёл он, — сказала Василиса.

Злата посмотрела на неё.

На вторую чашку. Белую. С обожжённым краем.

— Пришёл, — сказала она. Тихо. — Да.

Фрол Евсеич вывалился из сумки.

Василиса не успела его удержать. Он вылез — весь, целиком, — плюхнулся на стол, между чашками, прямо на клеёнку с подсолнухами, встал, отряхнулся. Злата его не видела — Василиса поняла по её глазам: смотрит на стол и ничего не видит, кроме чашек. Видела только, наверное, что-то вроде движения воздуха. Как над асфальтом в жару.

Фрол Евсеич подошёл ко второй чашке. Мужской. С обожжённым краем. Наклонился. Понюхал.

И отшатнулся. Так, что чуть не упал со стола.

— Девка, — сказал он хрипло. — Уходим.

Василиса не двинулась.

— Уходим, говорю! — Фрол Евсеич повернулся к ней. Борода у него стояла дыбом, глаза — круглые. — Тут не человек чай пил. Ты понюхай. Тут — змей.

Модест, сидевший у порога кухни, поднял голову. Шерсть у него на загривке встала — волной, как в мае у шестка.

— Змей, — повторил Фрол Евсеич. — Огненный. Летучий. Я его запах знаю. Отец рассказывал — в Самаре, при Митрофане, — к одной вдове ходил. Купчихе. Год ходил. В мужнином облике. Она — таяла. Как свечка. А он — жрал. — Домовой посмотрел на печь. На синие изразцы с птицами. — И домового тут нет. Ушёл. Сбежал. Давно. Чуешь — пусто? Тут печь — не его. Тут печь — его. Змеева. Он через трубу ходит.

Злата смотрела на стол. На то место, где стоял Фрол Евсеич. Хмурилась — как хмурятся, когда что-то слышат краем уха и не могут разобрать.

— У вас кто-то есть, — сказала она медленно. — Ещё кто-то. Не кот. Маленький. Я чувствую. Как будто… — Она протянула руку. Над столом. Фрол Евсеич отскочил. — Как будто дедушка какой-то. Сердитый.

— Домовой, — сказала Василиса. — Мой.

Злата отдёрнула руку.

— У вас — домовой?

— У меня. А у вас — нет. — Василиса смотрела на неё. — Он говорит, что ваш ушёл. Давно. Когда ваш муж начал приходить.

Злата побледнела.

Не сильно. Чуть-чуть. Под глазами — синие тени, которые Василиса заметила ещё на линейке, — стали темнее.

— Это неправда, — сказала Злата.

— Зоя…

— Не называйте меня так. — Голос у неё стал резкий. — Я — Злата. Зои нет. Зоя была — дикая. Никому не нужная. С мамой-алкоголичкой. Зоя плакала год по ночам. — Она встала. — А Злата — нет. Злата — работает. Злата помогает людям. У Златы четыреста тысяч человек, которым она нужна. Которые ей пишут: «Злата, спасибо, муж вернулся». «Злата, спасибо, он мне сделал предложение». «Злата, я была одна десять лет, а теперь — нет». — Она смотрела на Василису сверху вниз. — Десять тысяч отзывов. Десять тысяч людей, которые были одни, — а теперь нет. Это — плохо?

— Это — крючки, — сказала Василиса. Тихо. — Не любовь. Крючки. Они не любят, Зоя. Они просто не могут оторваться.

— А какая разница? — Злата засмеялась. Резко. Нехорошо. — Вы правда думаете, что есть разница? Вы со своими нитками — правда думаете? Вот вы — ваш муж вас любит? Или просто не может оторваться? Вы проверяли? — Она шагнула ближе. — А мой — любит. Он ко мне приходит. Каждую ночь. Три года. Он мёртвый — а приходит. Это — любовь. А не ваши нитки.

Василиса смотрела на неё.

На высокую, тонкую, бледную женщину в чёрном шёлковом халате с золотыми звёздами. С розовыми кончиками волос. С синими тенями под глазами. С худыми руками — слишком худыми, Василиса заметила только сейчас, запястья тонкие, как у подростка. С серой, сухой кожей. Как будто из неё что-то выпили. По капле. Три года.

«Он — жрал».

— Он к вам приходит, — сказала Василиса. — Каждую ночь. Три года. Вы худеете?

Злата не ответила.

— Вы спите?

Злата не ответила.

— Вы помните, когда последний раз обнимали Миру? Не для сторис. Просто так?

Злата стояла неподвижно.

Из детской, из-за приоткрытой двери, донёсся голос. Тоненький. Тихий. Мира говорила с зайцами:

— …а мама скоро придёт. Мама занята. Мама работает. Мама вечером придёт и почитает. Если папа не придёт. Если папа придёт — не почитает. Но ничего. Я сама почитаю. Я уже умею.

Злата закрыла глаза.

Потом открыла. И лицо у неё было — опять Златино. Гладкое. Красивое. С улыбкой. Как в телефоне.

— Спасибо, что зашли, — сказала она. — Было очень интересно. Правда. — Она пошла к двери. Открыла её. — В пятницу у меня бесплатный вебинар. Первый урок. Для сызранских. Я уже анонсировала. Записалось — триста сорок человек. Из вашего города, между прочим. — Улыбка. — Приходите. Посмотрите, как работают современные ведьмы.

— Зоя.

— До свидания, — сказала Злата. — Коллега.

Обратно шли молча.

По Кремлёвской. Мимо Спасской башни. Мимо старых купеческих домов. Модест — впереди. Фрол Евсеич — в сумке, но не в кармашке, а в основном отделении, на самом дне, — сказал, что «там спокойнее, там пахнет твоими ключами, а не этим».

У Спасской башни Василиса остановилась. Достала телефон. Открыла поиск. Набрала: «Злата ведьма».

Канал. Чёрная аватарка с золотой буквой «З». Четыреста двенадцать тысяч подписчиков. Закреплённое видео — вчерашнее. Обложка: Злата на фоне Спасской башни, в чёрном пальто, с распущенными волосами, с подписью большими буквами: «Я В СЫЗРАНИ. ЗДЕСЬ ЖИВУТ НАСТОЯЩИЕ ВЕДЬМЫ. И ЗДЕСЬ Я СДЕЛАЮ САМЫЙ МОЩНЫЙ ПРИВОРОТ В ИСТОРИИ».

Василиса нажала.

«Дорогие мои, — сказала Злата с экрана. Весёлая. Яркая. С красными губами. — Вы спрашивали, зачем я переехала в маленький город на Волге. Отвечаю. Потому что здесь — сила. Я это чувствую. Каждой клеточкой. Здесь жили ведьмы триста лет. Здесь — места силы. И здесь, четырнадцатого октября, на Покров, — в самую сильную ночь для любовной магии, — я проведу для вас марафон. Онлайн. Для всех. Бесплатно. Самый мощный приворот, который

вы когда-либо видели. Каждый, кто подключится, — получит свою любовь. Каждый. Обещаю». Улыбка. Подмигивание. «Ставьте колокольчик. До встречи на Покров».

Под видео — восемнадцать тысяч комментариев.

«Злата, я подключусь!!!»

«Злата, спасибо, ваш приворот сработал, он вернулся!!!»

«Злата, а можно на начальника?»

«Злата, я уже семь лет одна. Я подключусь. Пожалуйста. Пусть сработает».

Василиса смотрела на экран.

Четыреста двенадцать тысяч человек. Покров. Каждый, кто подключится.

Четыреста тысяч крючков.

И на том конце — одна нитка. Толстая. Красная. Уходящая над крышами — к Волге.

Туда, где кто-то ест.

— Модест, — сказала она.

Кот остановился. Обернулся.

— Это сколько же надо съесть, — сказала Василиса, — чтобы четыреста тысяч человек за одну ночь?

Модест долго смотрел на неё.

— Не столько, — сказал он. — Он не их будет есть. Он через них будет есть. Каждый крючок — нитка. Каждая нитка — к кому-то. К мужу, к жене, к матери, к ребёнку. Вытянет из каждого чуть-чуть. Тоски. Тепла. — Кот помолчал. — Четыреста тысяч человек. А за ними — ещё по десять. Четыре миллиона. — Он посмотрел на Волгу, видную между домами. — Он столько за триста лет не ел.

— А потом?

— А потом, — сказал Модест, — он станет большой.

Над Волгой, далеко, у самого горизонта, где-то в районе Жигулей, вдруг что-то мелькнуло. Яркое. Быстрое. Огненное. Как падающая звезда. Только падала она не вниз — вбок. Над водой. Низко. Оставляя за собой тонкий дымный след.

И пропала.

Был без четверти пять пополудни. Солнце ещё не село. Падающих звёзд в это время не бывает.

Глава 3. Вебинар

«Урок 3. Приворот — это не насилие. Это помощь. Вы просто показываете мужчине то, что он и так чувствует, но боится признать. Вы — не охотница. Вы — проводник. Запомните это и повторяйте каждый раз, когда вам станет неловко». Из курса «Ведьма за 30 дней»

Бесплатный вебинар школы ведьм «Злата» начался в пятницу, восьмого сентября, в девятнадцать ноль-ноль по московскому времени и продлился два часа сорок минут.

Василиса смотрела его на кухне. С ноутбука. С наушником в одном ухе — во втором не было наушника, потому что Гаша сидела рядом и требовала слышать тоже, а Василиса сказала «нельзя», и Гаша нахмурилась, и брови у неё сошлись так, что Василиса сдалась и отдала второй наушник.

Модест лежал на печи. Делал вид, что спит. Уши — к ноутбуку.

Фрол Евсеич сидел на шестке. С блюдечком. Ворчал.

Егор был на дежурстве.

Алёша спал. Он сказал: «Мне не надо смотреть. Я потом вспомню, если надо будет». И лёг в девять, с черепахой.

— Добрый вечер, мои дорогие, — сказала Злата с экрана.

Она сидела в своей студии на первом этаже — в бархатном кресле-троне, в чёрном платье, в свете трёх кольцевых ламп. Вокруг горели свечи. Сотни. На полу, на подоконниках, в банках. За её спиной на чёрном бархате переливались кристаллы. На коленях — Таро. В волосах — розовые пряди. На губах — красное.

Она была красивая. Василиса признала это честно. Не так, как бывают красивы актрисы, а так, как бывает красив огонь в печи: на него хочется смотреть.

— Сегодня у нас особенный урок, — сказала Злата. — Первый урок для моих новых соседей. Для сызранских. Вас сегодня — Злата посмотрела куда-то в сторону, в экран ноутбука, — триста восемьдесят два человека. Из Сызрани. Это — невероятно. Спасибо. Спасибо, мои дорогие.

В чате — справа, бегущей лентой — посыпались сердечки. «Злата, мы тут!» «Злата, Сызрань с тобой!» «Злата, а это правда, что у нас ведьма живёт?»

— Правда, — сказала Злата, прочитав. И улыбнулась — прямо в камеру. Прямо Василисе. — Я с ней познакомилась. Она прекрасна. Она очень сильная. И очень старомодная. — Она выдержала паузу, эффектную, телевизионную. — Но мы с вами — современные. Правда?

«ДА!!!» — посыпалось в чат.

Гаша рядом с Василисой нахмурилась.

— Мам. Она про тебя.

— Я знаю.

— Ты старомодная?

Василиса подумала.

— Немножко, — сказала она.

Урок был простой. Василиса ожидала — сама не знала чего. Заклинаний. Рецептов. Варева в котле. Ничего этого не было. Злата говорила — про женскую силу, про энергию намерения, про то, что каждая женщина — ведьма, просто не все об этом знают. Про то, что любовь — это поток, и его можно направить. Про то, что одиночество — это не судьба, а ошибка, которую можно исправить. Говорила хорошо. Тепло. Смешно — иногда. Рассказывала истории. Про женщину из Тольятти, которая двенадцать лет была одна, а после приворота через месяц вышла замуж. Про женщину из Самары, от которой ушёл муж к молодой, а через три дня вернулся и плакал на коленях. Про женщину из Чапаевска, которая приворожила начальника, и тот поднял ей зарплату вдвое.

В чате — визжали.

А потом, на втором часу, Злата сказала:

— А теперь — практика.

Она взяла со стола свечу. Красную. Тонкую. Церковную — Василиса узнала, такие продают в Казанском соборе по двадцать рублей.

— Возьмите свечу, — сказала Злата. — Любую. Красную лучше. Нет красной — белую. Нет свечи — возьмите телефон. Включите фонарик. Огонь — это огонь. — Она зажгла свечу от другой. — А теперь — подумайте о нём. О том, кого хотите. Не о его лице — о том, что вы чувствуете, когда его видите. Вот это тепло. Вот это… — Она приложила руку к груди. — Вот здесь. Почувствовали?

Чат замер. Двадцать секунд — ни одного сообщения.

— А теперь, — сказала Злата тихо, — повторяйте за мной. Вслух. Не стесняйтесь. Никто не слышит.

И сказала. Нараспев.

Василиса не запомнила слов. Они были простые — что-то про огонь, про сердце, про то, что «как свеча горит — так и тебе по мне гореть». Обычный заговор. Такие продают в любом киоске с эзотерикой, в любой книжке «Сто приворотов для начинающих». Ничего особенного.

Но когда Злата договорила последнее слово — Василиса почувствовала.

Не услышала. Не увидела — она даже не поворачивала ручку. Почувствовала. Как чувствуют, когда в соседней комнате открывают окно в мороз: волна холода по ногам.

Только это была не волна холода.

Волна жара.

Она прошла сквозь дом. Сквозь стены, сквозь печь, сквозь окна. С запада — с Кремлёвской. Быстро. Сухо. Горячо. Как ветер из раскалённой степи. Как дыхание из открытой печной заслонки.

Фрол Евсеич на шестке выронил блюдечко.

Модест на печи вскочил. Выгнул спину. Зашипел.

Гаша сорвала наушник. Схватилась за лоб. Нахмурилась — так, что Василиса испугалась, что у неё треснет кожа между бровей.

— Мама! — сказала она. Не крикнула — сказала, сквозь зубы. — Мама, их много!

Василиса повернула ручку.

И увидела.

Над городом — над крышами Сызрани, над Кремлёвской, над Советской, над Ульяновской, над Кирпичными — в темноте летели нитки. Красные. Горячие. Как трассирующие пули в старом военном кино. Триста восемьдесят две. От каждой свечи, от каждого фонарика, от каждого окна, где сидела женщина перед экраном и шептала «как свеча горит», — вылетала одна. И летела. Через дворы, через улицы, через заборы. Искала.

И находила.

Василиса видела, как они впиваются. Крючками. Под рёбра. В мужчин — в квартирах, в гаражах, на балконах, в машинах. В одних — в тех, о ком думали. В других — Василиса не сразу поняла — в первых попавшихся, потому что женщина у экрана думала не о ком-то, а просто о тепле, о «чтобы хоть кто-нибудь», и нитка искала сама, и цепляла кого придётся.

Впивались — и натягивались.

И от каждой — от каждой из трёхсот восьмидесяти двух — шла другая. Тонкая. Едва заметная. Не к женщине у экрана. Мимо. Над крышами. На запад. К Кремлёвской. К дому с жестяным петухом.

А оттуда — одна. Толстая. Красная. В небо. К Волге.

И по ней — снизу вверх — потекло.

Серое. Тусклое. Как пепел.

Василиса закрыла ноутбук.

Сидела. Тяжело дыша. Гаша рядом — с ладонями на лбу.

На экране — уже чёрном — отражалась кухня. Печь. Шесток. Разбитое блюдечко на полу. Фрол Евсеич — над ним. На коленях. Собирал осколки. Руки у него дрожали.

— Синее было, — сказал он. Глухо. — С каёмкой. Двести лет. — Он поднял один осколок. Посмотрел на свет. — Ну ничего. Ничего. Склею.

Модест на печи всё ещё стоял, выгнув спину.

— Он ел, — сказал кот. — Только что. Через неё. Через них всех. — Шерсть у него медленно опускалась. — Я почуял. Как будто дверь открыли в пекарню. И пахнет хлебом. И кто-то этот хлеб — жрёт. Большими кусками. Не жуя.

Гаша отняла ладони ото лба.

— Мам, — сказала она. — У Миры мама сейчас — серая.

— Что?

— Мира мама. Злата. — Гаша смотрела в пустоту, в стену, туда, где за стеной, за улицами, на Кремлёвской, стоял дом с петухом. — Она была красная. Яркая. Когда говорила. А сейчас — серая. Как пепел. — Брови у неё дрогнули. — И Мира — одна. В комнате. С зайцами. Плачет.

Василиса встала.

— Мам, ты куда?

— Никуда, — сказала Василиса. И села обратно.

Потому что не к кому было идти. Злата её не пустит. Злата сказала: «до свидания, коллега». И закрыла дверь.

Утро субботы началось с Кузьмичёва.

Он стоял под окном Михеича — на Нижне-Кирпичной, в шесть утра — и пел серенаду. Под гармошку. «Ах, эти чёрные глаза». Громко. Самозабвенно. Фальшиво. С переходом на «Очи чёрные» во втором куплете, потому что первую он помнил не до конца.

Пел он, как выяснилось, не Михеичу. И не Варе.

Он пел своей жене. Галине Петровне. Тридцать восемь лет в браке. Которая стояла на крыльце их собственного дома, на Ульяновской, за два квартала, в бигуди и халате, с телефоном в руке, и плакала от счастья.

Кузьмичёв перепутал адрес.

Он не помнил, где живёт. Помнил только, что Галина — самая прекрасная женщина на свете, что у неё чёрные глаза (у Галины Петровны были серо-голубые) и что если он не споёт ей серенаду немедленно, в шесть утра, — он умрёт.

Михеич вышел на крыльцо. В майке. С палкой.

— Кузьмичёв, — сказал Михеич. — Ты что, белены объелся?

— Галя! — сказал Кузьмичёв. С гармошкой. С мокрыми глазами. — Галочка! Выходи!

— Я не Галочка, — сказал Михеич.

Кузьмичёв посмотрел на него. Долго. Потом — на дом. Потом — опять на Михеича.

— Это не мой дом, — сказал он.

— Не твой.

— А мой где?

Михеич показал палкой. На Ульяновскую.

Кузьмичёв кивнул. Вскинул гармошку. И пошёл — по Нижне-Кирпичной, к Ульяновской, — продолжая петь «Очи чёрные», и с каждого крыльца, мимо которого он проходил, на него смотрели люди. В халатах. В тапках. С телефонами.

Галина Петровна, как выяснил потом Егор, поставила на вебинаре свечку. Красную. Подумала о муже. Чтобы — «как раньше». Как в молодости. Когда он ей серенады пел.

Сработало.

К обеду субботы Пыжикова посетили пять женщин.

По очереди. С интервалом в сорок минут. С пирогами, с котлетами, с банками варенья, одна — с вязаными носками. Все — одинокие, все — за шестьдесят, все — с Советской и соседних улиц. Все смотрели на Пыжикова так, как смотрят на чудо. Все говорили, что «просто зашли».

Пыжиков, проклятый говорить только правду, встречал каждую на пороге.

— Здравствуйте, Валентина Ивановна, — говорил он. — Вы меня не любите. Это приворот. Я вижу. У вас глаза как у моей внучки, когда она смотрит мультфильмы. Вы были на вебинаре. Вы поставили свечку. Вы думали не обо мне, а о том, чтобы не быть одной. Я вас понимаю. Я тоже один. Но вы меня не любите. — Он принимал пирог. — Спасибо за пирог. Он, наверное, вкусный. Я съем.

Валентина Ивановна уходила — растерянная, красная, моргающая.

Через сорок минут приходила следующая.

— Здравствуйте, Тамара Семёновна. Вы меня не любите…

К вечеру у Пыжикова было пять пирогов, сорок котлет, три банки варенья и носки. Он позвонил Василисе. Сказал:

— Василиса Андреевна. Я — не против, что ко мне ходят. Это правда. Мне приятно. Это тоже правда. Но мне их жалко. Это — самая большая правда. Они уходят — и плачут. Потому что я говорю, что они меня не любят. А они — не понимают, почему. Им же кажется, что любят. — Можно это как-нибудь… выключить?

Василиса не знала, что ответить.

Это было хуже всего: она не знала.

Она пробовала. В субботу. Сама. На физруке.

Физрук жил на Ульяновской, в пятиэтажке. Молодой, двадцать шесть лет, Станислав Сергеевич. В пятницу вечером, после вебинара, его подцепили сразу три крючка — от учительницы музыки, от школьной поварихи и от мамы одного третьеклассника. В субботу утром он сидел на лавочке у подъезда — в спортивном костюме, со свистком на шее — и смотрел в одну точку. Сразу в три стороны. Как будто его тянули за три верёвки, и он не мог выбрать, куда упасть.

Василиса села рядом.

— Станислав Сергеевич.

— А? — Физрук повернул голову. Глаза — мутные. — Вы кто?

— Мама из первого «Б». Шмелёва.

— А. — Он кивнул. — Шмелёва. Девочка с бровями. — Помолчал. — Скажите, Шмелёва. Вы когда-нибудь любили трёх человек одновременно?

— Нет.

— Я тоже, — сказал физрук. — До вчера. — Он потёр лицо руками. — А теперь — люблю. Всех трёх. Одинаково. Сразу. И мне от этого так плохо, что я не могу встать. Как будто меня — на три части. — Он посмотрел на неё. — Это нормально? Так бывает?

Василиса повернула ручку.

Три крючка сидели у него под рёбрами. Красные. Горячие. Впившиеся глубоко — так глубоко, что вокруг каждого собственные, родные нитки физрука — к маме, к сестре, к другу детства, к девушке, с которой он расстался в мае и о которой до сих пор думал, — свернулись, сжались, отползли, как отползает трава от костра.

Василиса протянула руку. Не к физруку — к ближайшему крючку. К нитке учительницы музыки. Она умела это — восемь лет умела: взять нитку, распутать, отвязать. Сколько раз она это делала. С ревнивыми мужьями, с брошенными жёнами, с матерями, которые держали взрослых сыновей так, что те не могли дышать.

Она взяла нитку. Пальцами. Внутри — не рукой, конечно, а тем, чем она брала нитки всегда.

Нитка обожгла.

Не сильно. Как обжигает горячая сковородка, если схватить. Василиса не отпустила. Потянула. Осторожно. Чтобы крючок вышел.

Крючок не вышел.

Он сидел — как сидят крючки. С зазубриной. Василиса тянула — а он цеплялся. И вместе с ним — Василиса увидела — вместе с ним тянулось что-то ещё. Не его. Физрука. Собственная нитка — тонкая, бледная, золотистая — к девушке, с которой он расстался в мае. Крючок впился в неё зазубриной. Зацепил. И если тянуть дальше — вырвет. Вместе с крючком.

Физрук охнул. Схватился за грудь.

Василиса отпустила.

— Что это было? — сказал физрук. Бледный. — Как будто… сердце кольнуло.

— Ничего, — сказала Василиса. — Простите.

Она встала. Пошла прочь.

Руки у неё дрожали.

Модест ждал её за углом. На заборе.

— Не вышло, — сказал он. Не спрашивая.

— Не вышло. — Василиса прислонилась к забору. — Он зазубренный. Крючок. Если тянуть — рвёт своё. Настоящее. — Она закрыла глаза. — Я могла ему сердце порвать, Модест. Ему — двадцать шесть.

Кот смотрел на неё сверху. С забора.

— Это не её крючки, — сказал он. — Не Златины. Она так не умеет. Она — дикая. Её бабка учила травам и испугу. Таких крючков ни одна наша не вяжет — ни Евдокия, ни Агафья, ни твоя Римма. Мы так не умеем. Это — не наше.

— А чьё?

— Его, — сказал Модест. — Змеево. Он через неё вяжет. Она — как… — Кот поискал слово. — Как розетка. Он — ток. Она подключает. Он бьёт.

— И что делать?

— Не знаю, — сказал Модест. Честно. — Крючок снаружи не вынешь. Его можно вынуть только с того конца. Откуда тянут. — Кот посмотрел на запад. На Кремлёвскую. — Пока он тянет — крючок сидит. Он перестанет тянуть — крючок сам выпадет. Без зазубрин. Как засохший репей.

— А он перестанет?

Модест не ответил.

Егора подцепили в воскресенье.

Василиса узнала об этом вечером, когда он пришёл с дежурства. Сел в сенях на сундук. Снял фуражку. Поставил на колени. Посмотрел на неё.

— Вась, — сказал он. — Ко мне сегодня бабки приставали.

— Какие бабки?

— Три. С участка. Ершова с Ульяновской, Гусева с Советской и ещё одна, я фамилии не помню, с Кремлёвской. — Егор почесал вихор. — Они меня пирогами кормили. Весь день. Я на посту стою — Ершова с пирогом. Я в машину сажусь — Гусева с пирогом. Я в отделение захожу — та, с Кремлёвской, — уже там сидит. С пирогом. Дежурный ржёт. — Вась, они на меня смотрят — как на Гагарина. Мне шестьдесят пирогов за день дали. Я тридцать съел.

Василиса повернула ручку.

Три крючка. Красные. Горячие. Висели на Егоре. Не под рёбрами — снаружи. На куртке. Как репьи.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.